

Рассказы для детей о Родине



Наше Отечество

Ушинский К.Д.

Наше отечество, наша родина — матушка Россия. Отечеством мы зовём Россию потому, что в ней жили испокон веку отцы и деды наши.

Родиной мы зовём её потому, что в ней мы родились. В ней говорят родным нам языком, и всё в ней для нас родное; а матерью — потому, что она вскормила нас своим хлебом, вспоила своими водами, выучила своему языку, как мать она защищает и бережёт нас от всяких врагов.

Велика наша Родина-мать — святорусская земля! От запада к востоку тянется она почти на одиннадцать тысяч вёрст; а от севера к югу на четыре с половиною.

Не в одной, а в двух частях света раскинулась Русь: в Европе и в Азии...

Много есть на свете, и кроме России, всяких хороших государств и земель, но одна у человека родная мать — одна у него и родина.

Русская песня

Иван Шмелёв

Я с нетерпением поджидал лета, следя за его приближением по хорошо мне известным признакам.

Самым ранним вестником лета являлся полосатый мешок. Его вытягивали из огромного сундука, пропитанного запахом камфары, и вываливали из него груды парусиновых курточек и штанишек для примерки. Я подолгу должен был стоять на одном месте, снимать, надевать, опять снимать и снова надевать, а меня поворачивали, закалывали на мне, припускали и отпускали — «на полвершочка». Я

потел и вертелся, а за не выставленными ещё рамами качались тополевые ветки с золотившимися от клея почками и радостно голубело небо.

Вторым и важным признаком весны-лета было появление рыжего маляра, от которого пахло самой весной — замазкой и красками. Маляр приходил выставять рамы — «впускать весну» — наводить ремонт. Он появлялся всегда внезапно и говорил мрачно, покачиваясь:

— Ну, и где у вас тут чего?..

И с таким видом выхватывал стамески из-за тесёмки грязного фартука, словно хотел зарезать. Потом начинал драть замазку и сердито мурлыкать под нос:

И-ах и тё-мы-най ле-со...

Да йехх и тё-мы-на-ай...

Я старался узнать, что дальше, но суровый маляр вдруг останавливал стамеску, глотал из жёлтой бутылочки, у которой на зелёном ярлычке стояло «политура», плевал на пол, свирепо взглядывал на меня и начинал опять:

Ах-ехх и в тёмы-на-ам ле...

Да и в тё... мы-ны-мм!..

И пел всё громче. И потому ли, что он только всего и пел, что про темный лес, или потому, что вскрикивал и вздыхал, взглядывая свирепо исподлобья, — он казался мне очень страшным.

Потом мы его хорошо узнали, когда он оттаскал моего приятеля Ваську за волосы. Так было дело.

Маляр поработал, пообедал и завалился спать на крыше сених, на солнышке. Помурлыкав про тёмный лес, где «сы-тоя-ла ах да и со-сенка», маляр заснул, ничего больше не сообщив. Лежал он на спине, а его рыжая борода глядела в небо. Мы с Васькой, чтобы было побольше ветру, тоже забрались на крышу — пускать «монаха». Но ветру и на крыше не было. Тогда Васька от нечего делать принялся щекотать соломинкой голые маляровы пятки. Но они были покрыты серой и твердой кожей, похожей на замазку, и маляру было нипочём. Тогда я наклонился к уху маляра и дрожащим тоненьким голосом запел:

И-ах и в тё-мы-ном ле-э...

Рот маляра перекосялся, и улыбка выползла из-под рыжих его усов на сухие губы. Должно быть, было приятно ему, но он всё-таки не проснулся. Тогда Васька предложил приняться за маляра как следует. И мы принялись-таки.

Васька приволок на крышу большую кисть и ведро с краской и выкрасил маляру пятки. Маляр лягнулся и успокоился. Васька соорудил рожу и продолжал. Он обвел маляру у щиколоток по зелёному браслету, а я осторожно покрасил большие пальцы и ногти.

Маляр сладко похрапывал — должно быть, от удовольствия.

Тогда Васька обвёл вокруг маляра широкий «заколдованный круг», присел на корточки и затянул над самым маляровым ухом песенку, которую с удовольствием подхватил и я:

Рыжий красного спросил:

— Чем ты бороду лучил?

— Я не краской, не замазкой,

Я на солнышке лежал!

Я на солнышке лежал,
Кверху бороду держал!

Маляр заворочался и зевнул. Мы притихли, а он повернулся на бок и выкрасился. Тут и вышло. Я махнул в слуховое окошко, а Васька поскользнулся и попал маляру в лапы. Маляр оттрепал Ваську и грозил окунуть в ведро, но скоро развеселился, гладил по спине Ваську и приговаривал:

— А ты не реви, дурашка. Такой же растёт у меня в деревне. Что хозяйской краски извёл, дура... да ещё ревёт!

С того случая маляр сделался нашим другом. Он пропел нам всю песенку про тёмный лес, как срубили сосенку, как «угы-на-ли добра молодца в чужу-дальнюю сы-то-ронуш-ку!...». Хорошая была песенка. И так жалостливо пел он её, что думалось мне: не про себя ли и пел её? Пел и ещё песенки — про «тёмную ноченьку, осеннюю», и про «берёзыньку», и ещё про «поле чистое»...

Впервые тогда, на крыше сеней, почувствовал я неведомый мне дотолле мир — тоски и раздолья, таящийся в русской песне, неведомую в глубине своей душу родного мне народа, нежную и суровую, прикрытую грубым одеянием. Тогда, на крыше сеней, в ворковании сизых голубков, в унылых звуках маляровой песни, приоткрылся мне новый мир — и ласковой и суровой природы русской, в котором душа тоскует и ждёт чего-то... Тогда-то, на ранней моей поре, — впервые, быть может, — почувствовал я силу и красоту народного слова русского, мягкость его, и ласку, и раздолье. Просто пришло оно и ласково легло в душу. Потом — я познал его: крепость его и сладость. И всё узнаю его...

Деревня

Иван Тургенев

Последний день июня месяца; на тысячу верст кругом Россия — родной край. Ровной синевой залито всё небо; одно лишь облачко на нём — не то плывёт, не то тает. Безветрие, теплынь... воздух — молоко парное!

Жаворонки звенят; воркуют зобастые голуби; молча реют ласточки; лошади фыркают и жуют; собаки не лают и стоят, смиренно повиливая хвостами.

И дымком-то пахнет, и травой — и дёгтем маленько — и маленько кожей. Конопляники уже вошли в силу и пускают свой тяжёлый, но приятный дух.

Глубокий, но пологий овраг. По бокам в несколько рядов головастые, книзу ищеплённые ракиты. По оврагу бежит ручей; на дне его мелкие камешки словно дрожат сквозь светлую рябь. Вдали, на конце-крае земли и неба — синеватая черта большой реки.

Вдоль оврага — по одной стороне опрятные амбарчики, клетушки с плотно закрытыми дверями; по другой стороне пять-шесть сосновых изб с тесовыми крышами. Над каждой крышей высокий шест скворечницы; над каждым крылечком вырезной железный крутогривый конёк. Неровные стёкла окон отливают цветами радуги. Кувшины с букетами намалёваны на ставнях. Перед каждой избой чинно стоит исправная лавочка; на завалинках кошки свернулись клубочком, насторожив прозрачные ушки; за высокими порогами прохладно темнеют сени.

Я лежу у самого края оврага на разостланной попоне; кругом целые вороха только что скошенного, до истомы душистого сена. Догадливые хозяева разбросали сено перед избами: пусть ещё немного посохнет на припёке, а там и в сарай! То-то будет спать на нём славно!

Курчавые детские головки торчат из каждого вороха; хохлатые курицы ищут в сене мошек да букашек; белогубый щенок барахтается в спутанных былинках.

Русокудрые парни, в чистых низко подпоясанных рубахах, в тяжёлых сапогах с оторочкой, перекидываются бойкими словами, опершись грудью на отпряжённую телегу, — зубоскалят.

Из окна выглядывает круглолицая молодка; смеётся не то их словам, не то возне ребят в наваленном сене.

Другая молодка сильными руками тащит большое мокрое ведро из колодца... Ведро дрожит и качается на верёвке, роняя длинные огнистые капли.

Передо мной стоит старуха-хозяйка в новой клетчатой понёве, в новых котках.

Крупные дутые бусы в три ряда обвилились вокруг смуглой худой шеи; седая голова повязана жёлтым платком с красными крапинками; низко навис он над потускневшими глазами.

Но приветливо улыбаются старческие глаза; улыбается всё морщинистое лицо. Чай, седьмой десяток доживает старушка... а и теперь ещё видать: красавица была в своё время!

Растопырив загорелые пальцы правой руки, держит она горшок с холодным неснятым молоком, прямо из погреба; стенки горшка покрыты росинками, точно бисером. На ладони левой руки старушка подносит мне большой ломоть ещё тёплого хлеба. «Кушай, мол, на здоровье, заезжий гость!»

Петух вдруг закричал и хлопотливо захлопал крыльями; ему в ответ, не спеша, промычал запертой телёнок.

— Ай да овёс! — слышится голос моего кучера.

О, довольство, покой, избыток русской вольной деревни! О, тишь и благодать!

И думается мне: к чему нам тут и крест на куполе Святой Софии в Царь-Граде, и всё, чего так добиваемся мы, городские люди?

Косцы

Иван Бунин

Мы шли по большой дороге, а они косили в молодом берёзовом лесу поблизости от неё — и пели.

Это было давно, это было бесконечно давно, потому что та жизнь, которой все мы жили в то время, не вернётся уже вовеки.

Они косили и пели, и весь берёзовый лес, ещё не утративший густоты и свежести, ещё полный цветов и запахов, звучно откликался им.

Кругом нас были поля, глушь срединной, исконной России. Было предвечернее время июньского дня... Старая большая дорога, заросшая кудрявой муравой, изрезанная заглохшими колеями, следами давней жизни наших отцов и дедов,

уходила перед нами в бесконечную русскую даль. Солнце склонялось на запад, стало заходить в красивые лёгкие облака, смягчая синь за дальними извалами полей и бросая к закату, где небо уже золотилось, великие светлые столпы, как пишут их на церковных картинах. Стадо овец серело впереди, старик-пастух с подпаском сидел на меже, навивая кнут... Казалось, что нет, да никогда и не было, ни времени, ни деления его на века, на годы в этой забытой — или благословенной — богом стране. И они шли и пели среди её вечной полевой тишины, простоты и первобытности с какой-то былинной свободой и беззаветностью. И берёзовый лес принимал и подхватывал их песню так же свободно и вольно, как они пели.

Они были «дальние», рязанские. Они небольшой артелью проходили по нашим, орловским, местам, помогая нашим сенокосам и подвигаясь на низы, на заработки во время рабочей поры в степях, ещё более плодородных, чем наши. И они были беззаботны, дружны, как бывают люди в дальнем и долгом пути, на отдыхе от всех семейных и хозяйственных уз, были «охочи к работе», неосознанно радуясь её красоте и спорости. Они были как-то стариннее и добротнее, чем наши, — в обычае, в повадке, в языке, — опрятной и красивей одеждой, своими мягкими кожаными бахилками, белыми ладно увязанными онучами, чистыми портками и рубахами с красными, кумачовыми воротами и такими же ластовицами.

Неделю тому назад они косили в ближнем от нас лесу, и я видел, проезжая верхом, как они заходили на работу, пополудновавши: они пили из деревянных жбанов родниковую воду, — так долго, так сладко, как пьют только звери да хорошие, здоровые русские батраки, — потом крестились и бодро сбегались к месту с белыми, блестящими, наведёнными, как бритва, косами на плечах, на бегу вступали в ряд, косы пустили все враз, широко, играючи, и пошли, пошли вольной, ровной чередой. А на возвратном пути я видел их ужин. Они сидели на засвежевшей поляне возле потухшего костра, ложками таскали из чугуна куски чего-то розового.

Я сказал:

— Хлеб-соль, здравствуйте.

Они приветливо ответили:

— Доброго здоровья, милости просим!

Поляна спускалась к оврагу, открывая ещё светлый за зелёными деревьями запад. И вдруг, приглядевшись, я с ужасом увидел, что то, что ели они, были страшные своим дурманом грибы-мухоморы. А они только засмеялись:

— Ничего, они сладкие, чистая курятина!

Теперь они пели: «Ты прости-прощай, любезный друг!» — подвигались по берёзовому лесу, бездумно лишая его густых трав и цветов, и пели, сами не замечая того. И мы стояли и слушали их, чувствуя, что уже никогда не забыть нам этого предвечернего часа и никогда не понять, а главное, не высказать вполне, в чём такая дивная прелесть их песни.

Прелесть её была в откликах, в звучности берёзового леса. Прелесть её была в том, что никак не была она сама по себе: она была связана со всем, что видели, чувствовали и мы и они, эти рязанские косцы. Прелесть была в том несознаваемом, но кровном родстве, которое было между ими и нами — и между ими, нами и этим хлебородным полем, что окружало нас, этим полевым воздухом, которым дышали и они и мы с детства, этим предвечерним временем, этими облаками на уже

розовеющем западе, этим снежим, молодым лесом, полным медвяных трав по пояс, диких несметных цветов и ягод, которые они поминутно срывали и ели, и этой большой дорогой, её простором и заповедной далью. Прелесть была в том, что все мы были дети своей родины и были все вместе и всем нам было хорошо, спокойно и любовно без ясного понимания своих чувств, ибо их и не надо, не должно понимать, когда они есть. И ещё в том была (уже совсем не сознаваемая нами тогда) прелесть, что эта родина, этот наш общий дом была — Россия, и что только её душа могла петь так, как пели косцы в этом откликающемся на каждый их вздох берёзовом лесу. Прелесть была в том, что это было как будто и не пение, а именно только вздохи, подъёмы молодой, здоровой, певучей груди. Пела одна грудь, как когда-то пелись песни только в России и с той непосредственностью, с той несравненной лёгкостью, естественностью, которая была свойственна в песне только русскому. Чувствовалось — человек так свеж, крепок, так наивен в неведении своих сил и талантов и так полон песнью, что ему нужно только легонько вздохнуть, чтобы отзывался весь лес на ту добрую и ласковую, а порой дерзкую и мощную звучность, которой наполняли его эти вздохи.

Они подвигались, без малейшего усилия бросая вокруг себя косы, широкими полукругами обнажая перед собою поляны, окашивая, подбивая округ пней и кустов и без малейшего напряжения вздыхая, каждый по-своему, но в общем выражая одно, делая по наитию нечто единое, совершенно цельное, необыкновенно прекрасное. И прекрасны совершенно особой, чисто русской красотой были те чувства, что рассказывали они своими вздохами и полусловами вместе с откликающейся далью, глубиной леса.

Конечно, они «прощались, расставались» и с «родимой сторонущкой», и со своим счастьем, и с надеждами, и с той, с кем это счастье соединялось:

Ты прости-прощай, любезный друг,

И, родимая, ах да прощай, сторонущка! —

говорили, вздыхали они каждый по-разному, с той или иной мерой грусти и любви, но с одинаковой беззаботно-безнадёжной укоризной.

Ты прости-прощай, любезная, неверная моя,

По тебе ли сердце черней грязи сделалось! —

говорили они, по-разному жалуясь и тоскуя, по-разному ударяя на слова, и вдруг все разом сливались уже в совершенно согласном чувстве почти восторга перед своей гибелью, молодой дерзости перед судьбою и какого-то необыкновенного, всепрощающего великодушия, — точно встряхивали головами и кидали на весь лес:

Коль не любишь, не мил — бог с тобою,

Коли лучше найдёшь — позабудешь! —

и по всему лесу откликалось на дружную силу, свободу и грудную звучность их голосов, замирало и опять, звучно гремя, подхватывало:

Ах, коли лучше найдёшь — позабудешь,

Коли хуже найдёшь — пожалеешь!

В чём ещё было очарование этой песни, её неизбывная радость при всей её будто бы безнадёжности? В том, что человек всё-таки не верил, да и не мог верить, по своей силе и непочатости, в эту безнадёжность. «Ах, да все пути мне, молодцу, заказаны!» — говорил он, сладко оплакивая себя. Но не плачут сладко и не поют своих скорбей

те, которым и впрямь нет нигде ни пути, ни дороги. «Ты прости-прощай, родимая сторонущка!» — говорил человек — и знал, что всё-таки нет ему подлинной разлуки с нею, с родиной, что, куда бы ни забросила его доля, всё будет над ним родное небо, а вокруг — беспредельная родная Русь, гибельная для него, балованного, разве только своей свободой, простором и сказочным богатством. «Закатилось солнце красное за тёмные леса, ах, все пташки приумолкли, все садились по местам!» Закатилось моё счастье, вздыхал он, тёмная ночь с её глушью обступает меня, — и всё-таки чувствовал: так кровно близок он с этой глушью, живой для него, девственной и преисполненной волшебными силами, что всюду есть у него приют, ночлег, есть чьё-то заступничество, чья-то добрая забота, чей-то голос, шепчущий: «Не тужи, утро вечера мудренее, для меня нет ничего невозможного, спи спокойно, дитячко!» — И из всяческих бед, по вере его, выручали его птицы и звери лесные, царевны прекрасные, премудрые и даже сама Баба-Яга, жалевшая его «по его младости». Были для него ковры-самолёты, шапки-невидимки, текли реки молочные, таились клады самоцветные, от всех смертных чар были ключи вечно живой воды, знал он молитвы и заклятия, чудодейные опять-таки по вере его, улетал из темниц, скинувшись ясным соколом, о сырую Землю-Мать ударившись, заступали его от лихих соседей и ворогов дебри дремучие, чёрные топи болотные, пески летучие — и прощал милосердный бог за все пошвысты удалые, ножи острые, горячие...

Ещё одно, говорю я, было в этой песне — это то, что хорошо знали и мы и они, эти рязанские мужики, в глубине души, что бесконечно счастливы были мы в те дни, теперь уже бесконечно далёкие — и невозвратимые. Ибо всему свой срок, — миновала и для нас сказка: отказались от нас наши древние заступники, разбежались рысучие звери, разлетелись вещие птицы, свернулись самобраные скатерти, поруганы молитвы и заклятия, иссохла Мать-Сыра-Земля, иссякли животворные ключи — и настал конец, предел божьему прощению.



Сказка-присказка про родной Урал

Евгений Пермяк

В этой сказке-присказке всякой разной чепушины хоть отбавляй. В забытые тёмные времена эту байку чей-то досужий язык породил да по свету пустил. Житьишко у неё было так себе. Маломальское. Кое-где она ютилась, кое-где до наших лет дожила и мне в уши попала.

Не пропадать же сказке-присказке! Куда-нибудь, кому-никому, может, и стодится. Приживётся — пусть живёт. Нет — моё дело сторона. За что купил, за то и продаю. Слушайте.

Вскорости, как наша земля отвердела, как суша от морей отделилась, зверями всякими, птицами населилась, из глубин земли, из степей прикаспинских золотой Змей-полоз выполз. С хрустальной чешуёй, с самоцветным отливом, огненным нутром, рудяным костяком, медным прожильем...

Задумал собою землю опоясать. Задумал и пополз от каспинских полуденных степей до полуночных холодных морей.

Больше тысячи вёрст полз как по струне, а потом вилять начал.

Осенью, видно, дело-то было. Круглая ночь застала его. Ни зги! Как в погребке. Заря даже не занимается.

Завилял полоз. От Усы-реки к Оби свернул и на Ямал было двинулся. Холодно! Он ведь как- никак из жарких, преисподних мест вышел. Влево пошёл. И прошёл сколько-то сотен вёрст, да увидел варяжские края. Не приглянулись они, видно, полозу. И удумал он через льды холодных морей напрямки махнуть.

Махнуть-то махнул, только каким ни будь толстым лёд, а разве такую махину выдержит? Не выдержал. Треснул. Осел.

Тогда Змей дном моря пошёл. Ему что при неохватной-то толщине! Брюхом по морскому дну ползёт, а хребет поверх моря высится. Такой не утонет. Только холодно.

Как ни горяча огневая кровь у Змея-полоза, как ни кипит всё вокруг, а море всё-таки не лохань с водой. Не нагреешь.

Остывать начал полоз. С головы. Ну, а коли голову застудил — и тулову конец. Коченеть стал, а вскорости и вовсе окаменел.

Огневая кровь в нём нефтью стала. Мясо — рудами. Рёбра — камнем. Позвонки, хребты стали скалами. Чешуя — самоцветами. А всё прочее — всем, что только есть в земной глубине. От солей до алмазов. От серого гранита до узорчатых яшм и мраморов.

Годы прошли, века минули. Порос окаменевший великан буйным ельником, сосновым раздольем, кедровым весельем, лиственничной красой.

И никому не придёт теперь в голову, что горы когда-то живым Змеем-полозом были.

А годы шли да шли. Люди осели на склонах гор. Каменным Поясом называли полоза. Опоясал всё-таки он как-никак нашу землю, хоть и не всю. А потому ему форменное имя дали, звонкое — Урал.

Откуда это слово взялось, сказать не могу. Только так его теперь все называют. Хоть и короткое слово, а много в себя вобрало, как Русь...



Собрание чудес

Константин Паустовский

У каждого, даже самого серьезного человека, не говоря, конечно, о мальчишках, есть своя тайная и немного смешная мечта. Была такая мечта и у меня, — обязательно попасть на Боровое озеро.

От деревни, где я жил в то лето, до озера было всего двадцать километров. Все отговаривали меня идти, — и дорога скучная, и озеро как озеро, кругом только лес, сухие болота да брусника. Картина известная!

— Чего ты туда рвёшься, на этот озер! — сердился огородный сторож Семён. — Чего не видал? Народ какой пошёл суетливый, хваткий, господи! Всё ему, видишь ли, надо своей рукой цопнуть, своим глазом высмотреть! А что ты там высмотришь? Один водоём. И более ничего!

— А ты там был?

— А на кой он мне сдался, этот озер! У меня других дел нету, что ли? Вот они где сидят, все мои дела! — Семён постучал кулаком по своей коричневой шее. — На загорбке!

Но я всё-таки пошёл на озеро. Со мной увязались двое деревенских мальчишек — Лёнька и Ваня.

Не успели мы выйти за околицу, как тотчас обнаружилась полная враждебность характеров Лёньки и Вани. Лёнька всё, что видел вокруг, прикидывал на рубли.

— Вот, глядите, — говорил он мне своим гутнивым голосом, — гусак идёт. На сколько он, по- вашему, тянет?

— Откуда я знаю!

— Рублей на сто, пожалуй, тянет, — мечтательно говорил Лёнька и тут же спрашивал: — А вот эта сосна на сколько потянет? Рублей на двести? Или на все триста?

— Счетовод! — презрительно заметил Ваня и шмыгнул носом. — У самого мозги на гривенник тянут, а ко всему приценивается. Глаза бы мои на него не глядели.

После этого Лёнька и Ваня остановились, и я услышал хорошо знакомый разговор — предвестник драки. Он состоял, как это и принято, только из одних вопросов и восклицаний.

— Это чьи же мозги на гривенник тянут? Мои?

— Небось не мои!

— Ты смотри!

— Сам смотри!

— Не хватай! Не для тебя картуз шили!

— Ох, как бы я тебя не толкнул по-своему!

— А ты не пугай! В нос мне не тычь! Схватка была короткая, но решительная.

Лёнька подобрал картуз, сплюнул и пошёл, обиженный, обратно в деревню. Я начал стыдить Ваню.

— Это конечно! — сказал, смутившись, Ваня. — Я сгоряча подрался. С ним все дерутся, с Лёнькой. Скучный он какой-то! Ему дай волю, он на всё цены навешает, как в сельпо. На каждый колосок. И непременно сведёт весь лес, порубит на дрова. А я больше всего на свете боюсь, когда сводят лес. Страсть как боюсь!

— Это почему же?

— От лесов кислород. Порубят леса, кислород делается жидкий, проховый. И земле уже будет не под силу его притягивать, подле себя держать. Улетит он во-он куда! — Ваня показал на свежее утреннее небо. — Нечем будет человеку дышать. Лесничий мне объяснял.

Мы поднялись по изволоку и вошли в дубовый перелесок. Тотчас нас начали заедать рыжие муравьи. Они облепили ноги и сыпались с веток за шиворот. Десятки муравьиных дорог, посыпанных песком, тянулись между дубами и можжевельником. Иногда такая дорога проходила, как по туннелю, под узловатыми корнями дуба и снова подымалась на поверхность. Муравьиное движение на этих дорогах шло непрерывно. В одну сторону муравьи бежали порожняком, а возвращались с товаром — белыми зёрнышками, сухими лапками жуков, мёртвыми осами и мохнатой гусеницей.

— Суэта! — сказал Ваня. — Как в Москве. В этот лес один старик приезжает из Москвы за муравьиными яйцами. Каждый год. Мешками увозит. Это самый птичий корм. И рыбу на них хорошо ловить. Крючок нужен махонький- махонький!

За дубовым перелеском, на опушке, у края сыпучей песчаной дороги стоял покосившийся крест с чёрной жестяной иконкой. По кресту ползли красные, в белую крапинку, божьи коровки.

Тихий ветер дул в лицо с овсяных полей. Овсы шелестели, гнулись, по ним бежала седая волна.

За овсяным полем мы прошли через деревню Полково. Я давно заметил, что почти все полковские крестьяне отличаются от окрестных жителей высоким ростом.

— Статный народ в Полкове! — говорили с завистью наши, заборьевские. — Гренадеры! Барабанщики!

В Полкове мы зашли передохнуть в избу к Василию Лялину — высокому красивому старику с пегой бородой. Седые клочья торчали в беспорядке в его чёрных косматых волосах.

Когда мы входили в избу к Лялину, он закричал:

Вода в Ларином озерце была глубокая и прозрачная до самого дна. Только у берега она чуть вздрагивала, — там из-под мхов вливался в озерцо родник. На дне лежало несколько тёмных больших стволов. Они поблёскивали слабым и тёмным огнём, когда до них добиралось солнце.

— Чёрный дуб, — сказал Лялин. — Морёный, вековой. Мы один вытащили, только работать с ним трудно. Пилы ломает. Но уж ежели сделаешь вещь — скалку или, скажем, коромысло, — так навек! Тяжёлое дерево, в воде тонет.

Солнце блесело в тёмной воде. Под ней лежали древние дубы, будто отлитые из чёрной стали. А над водой, отражаясь в ней жёлтыми и лиловыми лепестками, летали бабочки.

Лялин вывел нас на глухую дорогу.

— Прямо ступайте, — показал он, — покамест не упрётесь в мшары, в сухое болото. А по мшарам пойдёт тропка до самого озера. Только сторожко идите, — там колков много.

Он попрощался и ушёл. Мы пошли с Ваней по лесной дороге. Лес делался всё выше, таинственней и темнее. На соснах застыла ручьями золотая смола.

Сначала были ещё видны колеи, давным-давно поросшие травой, но потом они исчезли, и розовый вереск закрыл всю дорогу сухим весёлым ковром.

Дорога привела нас к невысокому обрыву. Под ним расстилались мшары — густое и прогретое до корней берёзовое и осиновое мелколесье. Деревца тянулись из глубокого мха. По мху то тут, то там были разбросаны мелкие жёлтые цветы и валялись сухие ветки с белыми лишаями.

Через мшары вела узкая тропа. Она обходила высокие кочки.

В конце тропы чёрной синевой светилась вода — Боровое озеро.

Мы осторожно пошли по мшарам. Из-под мха торчали острые, как копыя, колки, — остатки берёзовых и осиновых стволов. Начались заросли брусники. Одна щёчка у каждой ягоды — та, что повернута к югу, — была совсем красная, а другая только начинала розоветь.

Тяжёлый глухарь выскочил из-за кочки и побежал в мелколесье, ломая сушняк.

Мы вышли к озеру. Трава выше пояса стояла по его берегам. Вода поплёскивала в корнях старых деревьев. Из-под корней выскочил дикий утёнок и с отчаянным пискom побежал по воде.

Вода в Боровом была чёрная, чистая. Острова белых лилий цвели на воде и приторно пахли. Ударил рыба, и лилии закачались.

— Вот благодать! — сказал Ваня. — Давайте будем здесь жить, пока не кончатся наши сухари.

Я согласился.

Мы пробыли на озере два дня.

Мы видели закаты и сумерки и путаницу растений, возникавшую перед нами в свете костра. Мы слышали крики диких гусей и звуки ночного дождя. Он шёл недолго, около часа, и тихо позванивал по озеру, будто протягивал между чёрным небом и водой тонкие, как паутина, дрожащие струнки.

Вот и всё, что я хотел рассказать.

Но с тех пор я никому не поверю, что есть на нашей земле места скучные и не дающие никакой пищи ни глазу, ни слуху, ни воображению, ни человеческой мысли.

Только так, исследуя какой-нибудь клочок нашей страны, можно понять, как она хороша и как мы сердцем привязаны к каждой её тропинке, роднику и даже к робкому попискиванию лесной пичуги.